

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Подозрительный инструмент



Im WERDEN VERLAG
Москва-AUGSBURG 2004

Печатается по книге: Булат Окуджава. Капризы фортуны. Екатеринбург. 2002

© Булат Окуджава (наследники), 2004

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2004

<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

Ивану Иванычу было уже за тридцать, когда его жизнь резко переменялась. Дело в том, что Иван Иваныч запел. То есть не просто запел, а стал придумывать мелодии к собственным стихам, и получалось что-то похожее на песни. Он и раньше писал стихи, и даже некоторые из них опубликовал в различных газетках, но это не делало его сколько-нибудь известным — ну, стихи и стихи. А тут вдруг запел. Оказалось, что у него приятный голосок и симпатичные мелодии, и хотя на гитаре он знал всего лишь три аккорда, но в целом во всем этом что-то такое было, ибо некоторые из его литературных друзей отнеслись к нему не просто с удивлением или даже расположением, а восхитились и просили его повторить еще и еще раз. Сначала это его забавляло, но после как-то вдохновило (приятно быть приятным), и он сочинил новые мелодии к целому ряду стихов, и это все любители записали на самые первые, только что тогда появившиеся магнитофоны, а с них тут же кто-то переписал, а у него — другие, и так оно пошло и пошло...

Должен заметить, нисколько не пытаюсь унижить достоинство Ивана Иваныча, что его некоторый успех был вызван не столько, может быть, его творческими данными, сколько ситуацией, которая господствовала в стране в то время, то есть в пятьдесят шестом — пятьдесят седьмом годах. А было вот что: после XX съезда общество вдруг раскололось, все начали ощущать себя людьми, начали скорбеть об утратах, задумались о душе, ну просто обезумели от всяких разоблачений, от понимания собственного рабства. Цепи лопались со звоном. Все были полны сил и надежд. Вдруг разглядели множество пороков, уродств. Вдруг поняли, что так, как жили, жить нельзя, надо жить как-то иначе, достойнее, честнее. Надо оценить минувшее время — ложь, насилие, унижение личности, расхождение слов и дел. Надо побороть страх, источивший души. Мы ведь все братья, исстрадавшиеся братья и сестры... Нет, нет, я не намереваюсь давать развернутую характеристику тех событий, а тем паче проводить философский анализ происшедшего, ни в коем случае. Я о том, что Иван Иваныч вдруг запел... Я о песнях. И хотя в обществе произошел такой переворот, официальные песни оставались старые, из прежних времен. Они бывали и музыкальны, и привлекательны напевностью, но ничего уже не говорили новым представлениям о жизни. Ну, звучали марши, интеллигенты, бывало, напевали хором или в одиночку, но все это так, наборы общих фраз из кинофильмов, иногда старинные романсы, иногда что-нибудь из фольклора. Вершиной были Утесов и Шульженко. «Синенький скромный платочек...», «Ты ж одессит, Мишка...» и тому подобное. А Иван Иваныч, во-первых, запел о себе, просто о себе, а во-вторых, грустно и откровенно, ибо поводов для грусти было множество — такая уж была в стране ситуация, да и в его личной жизни, потому что он с детства числился сыном врагов народа. Короче говоря, он задел какие-то струны интеллигентов, и они жадно откликнулись. А он был членом партии. Он во время XX съезда вступил в партию, потому что поверил в этом общем подъеме, что вот теперь, когда усатый убийца разоблачен и пригвожден, все образуется и начнется новая свободная жизнь.

Да, и вот он пел, но его песни вызывали заметную неприязнь именно у партийных, даже не столько у рядовых, сколько у партийных начальников. Им казалось, что Иван Иваныч как-то слишком грустен и как-то упадочен в пору всеобщего жизнерадостного возбуждения, что он не тому служит, чему следует служить, играет на руку врагам и не туда ведет. Их раздражал некоторый подтекст, сквозивший в его стихах, а некоторые слова ну просто пугали и отвращали. Например, у него в стихах появилось слово «женщина». Слово как слово. Но в стихах, но в песне — это было чуждо их слуху, их привычкам, их вкусу, это рождало всякие липкие ассоциации, когда вместо привычного, здорового слова «девушка» или «девчата» звучало

«женщина». В этом они видели пошлость и измену соцреализму. Этому их не учили, то есть их учили противоположному: в слове «женщина» для них таилось нечто буржуазное, нэпмановское, может быть, даже классовое. Да и вообще в стихах Ивана Иваныча не было бодрости, призыва, безоглядной веры, а все какие-то намеки, двусмыслица, разлуки, крушения, смерти, какие-то милосердные призывы и уж совсем никчемные разглагольствования о благородстве. И это все в то время, когда тогдашний комсомольский секретарь Павлов призывал молодежь быть сильной, мужественной, смелой и решительной. В общем, направленность работы Ивана Иваныча не устраивала официальные власти. Он для них был явлением чуждым и даже опасным. Да и еще раздражала их ирония, всякие насмешки, которые воспринимались начальниками выпадами в свой адрес, впрочем, видимо, не без основания. Ну и, конечно, раздражал их внезапный и довольно-таки сильный интерес к его работе со стороны всяких интеллигентов, студентов и некоторых рабочих и крестьян.

Итак, у Ивана Иваныча началась новая жизнь. А трудился он в то время в большом московском молодежном издательстве. Руководили издательством бывшие комсомольские работники, которым, как я уже говорил, пение Ивана Иваныча было не совсем понятно. Я не хочу сказать, что они были возмущены, нет, до этого еще не дошло, но известная напряженность читалась в их лицах, когда они с ним сталкивались. Они, конечно, ему улыбались, старались быть доброжелательными, но в глазах, улыбках стоял этот мучительный вопрос: как это он, член партии, фронтовик, — и с гитарой, и поет, и эти усики, и всякие там женщины...

Кстати, я позабыл сказать, что Ивана Ивановича на самом деле звали не Иван Иваныч, а Отар Отарович, так как он был по происхождению грузин, но родился он на Арбате, родной язык его был русский, а в детстве у него была нянька с тамбовщины Акулина Ивановна, и она многое вложила в него, что уже в последующие годы нельзя было вытравить, и, наверное, потому многие из специалистов теперь находили в его так называемых песнях сильный элемент русского фольклора и старинного русского городского романса. Когда и как это произошло с переменой имени, трудно сказать, но себя он ощущал Иваном Иванычем.

И вот он работал в молодежном издательстве, был счастлив с друзьями, потому что появились благодаря его некоторой известности отдельные симпатичные люди, то есть не то что они потянулись к известности, а просто она помогла им найти друг друга. Так бывает. Он уже не числился сыном врагов народа. Чего ж вам больше? Однако жизнь, как известно, весьма суровая школа и таит в себе множество горьких неожиданностей и разочарований. И тут произошел производственный, так скажем, эпизод, который Ивана Иваныча потряс. Редакцией поэзии заведовала одна пожилая, серьезная интеллигентная дама. Она к Ивану Иванычу была благосклонна. Она даже отмечала в нем незаурядность, ей нравилась его открытость, она даже втайне считала его талантливым. Во всяком случае, на фоне бывших комсомольских функционеров, горбящихся в издательстве, в нем действительно было что-то симпатичное и не совсем обычное, какая-то раскованность, какая-то душевность, что ли, и ей это импонировало. Она благодаря этому кое на что смотрела сквозь пальцы, даже улыбалась ему время от времени сдержанно, по-королевски. А он занимался изданием национальных поэтов, находил переводчиков и заключал с ними договора. Нет, в его компетенцию не входило определять, кто из национальных поэтов талантлив и достоин сборника. Он получал от заведующей список тех, кого следовало издать, и все. Да и она в основном не сама решала, а решал директор издательства и главный редактор, и уж конечно центральный комитет комсомола. Как они определяли талант — оставалось загадкой. И если, скажем, Ивану Иванычу рекомендованный национальный поэт казался бездарным, то он должен был помалкивать, потому что это его не касалось. Зато переводчики — это было в его власти, и он постепенно обзавелся отрядом поэтов, которые с охотой брались за переводы даже самых бездарных, ибо жить хочется всем, а за переводы платили. Один из переводчиков (не буду называть его имя) как-то сказал Ивану Иванычу, что он с большим удовольствием переводит бездарных, так как, во-первых, тратишь меньше серого вещества, а во-вторых, плата одна, что за талантливого, что за убогого. В

общем, они переводили кто как мог. Зарабатывали. Ведь бывало так, что русского поэта не печатали с его собственными стихами: ну там он не подходил идейно или по анкете, мало ли что, и он зарабатывал переводами — большое счастье. Многие ходили в переводчиках в те годы. И должен сказать, что обилие переводов вовсе не связывалось с потребностями рынка или с обилием талантов. Талантов, как известно, много не бывает. А это объяснялось национальной политикой: нужна была витрина расцвета поэтической работы, культуры, нужно было показать Западу: вот как у нас много талантов в республиках! Вот до чего мы дошли... Поэтому появлялась разрядка: два мужчины, одна женщина, три от станка, четыре от сохи, один ненец, два киргиза, и тому подобное.

Иван Иванович потихоньку входил в литературные круги, то есть уже был своим человеком среди литераторов. В его списках был и совсем молодой — Женя Евтушенко, и Давид Самойлов, и Женя Рейн, и Толя Нейман, и Женя Храмов, и Юлий Даниэль, и Белла Ахмадулина, и Юрий Левитанский, и многие другие начинающие и уже сложившиеся поэты. И вот однажды заведующая подозвала Ивана Ивановича и попросила у него список переводчиков. Она долго просматривала этот список, молчала и только сильно покраснела. А он смотрел на нее и испытывал при этом возвышенные чувства, ибо приятно видеть перед собой пожилую интеллигентную женщину, тонко чувствующую, иронически поглядывающую на безмерно суетных и суетливых бывших комсомольцев и на всяких национальных авторов, самонадеянных и наглых, вывалившихся из свинцовых облаков конъюнктуры, которых так просто не спровадишь, потому что за ними власть и политика, но которых можно проводить насмешливым движением неюных губ, и пожать недоуменно плечами, и вздохнуть, утверждая хоть так собственное достоинство. И вот, просмотрев список, она сказала через силу, глядя в окно:

— Странный список...

— Чем же он странный? — не понял Иван Иванович. — Может, я должен был отпечатать его на гербовой бумаге?

— Вы не понимаете? — спросила заведующая, совсем обернувшись к окну. — Странно. Вот посмотрите: Юрий Левитанский...

— Да, — сказал Иван Иванович.

— Или, например, Давид Самойлов... Давид...

— Да, — сказал Иван Иванович.

— Вот еще, — сказала она, — Юлий Даниэль, — и посмотрела ему в глаза, — Евгений Рейн...

— И что же? — спросил Иван Иванович. — Список переводчиков — один лучше другого...

— Или вот Нейман... Толя...

Возникло некоторое напряжение.

— Разве они плохо переводят? — удивился он.

— По-моему, плохо, — сказала она и покраснела еще пуще.

— Я не могу с вами согласиться, — сказал Иван Иванович, еще ничего не понимая, — это прекрасные поэты.

Они помолчали.

— А вам не кажется, что в списке слишком много евреев? — спросила она, трудно дыша.

— Что?! — не понял Иван Иванович и густо покраснел.

— Вот посмотрите, — и она поднесла список к его лицу, — вы сами еще раз посмотрите, посмотрите... Слишком много... а хорошие русские переводчики идут в другие издательства...

— Что вы говорите?! — поперхнулся Иван Иванович. — Да разве это определяет...

— У нас русское издательство, — сказала она, продолжая задыхаться, — я не против, но нужна пропорция... директор очень недоволен этим обстоятельством... вот такое обстоятельство...

Свидетелей при разговоре не было. Иван Иванович побежал к директору. Он бежал по большому коридору. Сначала бежал, потом пошел медленней, медленней, затем присел на диван.

На лице его выступил пот, щеки горели. Почему же он замешкался? Почему не ворвался в кабинет к директору? Тут было одно обстоятельство. Недавно он влетел в этот кабинет по какому-то там местному поводу и замахал руками, закричал, запричитал о своем каком-то там несогласии с чем-то маленьким, ничтожным, второстепенным, мол, он, Иван Иванович, не согласен с решением администрации, потому что это неправильно, и даже незаконно, и задевает честь сотрудника, и еще что-то гневное и громкое.

Перед ним сидел директор, худой, изможденный, немолодой, со втянутыми щеками. Глаза у него были холодные, просверливающие насквозь, губы изображали брезгливое отвращение.

— Что это вы ножками сучите? — спросил он тихим зловещим шепотом.

Иван Иванович остолбенел, замолчал, даже остыл, не знал, что делать с руками, которые все еще продолжали двигаться. Он хотел было пояснить свою мысль, но директор сказал еще тише:

— Идите... Без вас разберемся.

И Иван Иванович тотчас очутился в приемной, ненавидя оскорбителя и презирая себя.

И вот теперь, сидя на диване, он вспомнил все это, вспомнил перекошенное лицо заведующей, и вдруг ему стало ее жалко, как она выдавливала из себя эти страшные слова, интеллигентка, дочь известного в недавнем прошлом писателя... Конечно, конечно, она говорила это не от себя, и, видимо, перед нею в ту минуту маячило изможденное лицо директора и его стальные всепроникающие глаза, и она как заведенная твердила Ивану Ивановичу высочайшее мнение, жалко пытаюсь выдать его за свое. Да, несомненно, все так и было. Но тут же, сидя на диване, он вспомнил, как однажды в его присутствии в кабинете директора, когда обсуждались какие-то там очередные издательские мелочи, вдруг пропел особый телефон и директор взял трубку. Иван Иванович увидел следующее: директор вскочил с кресла и вытянулся. Он побледнел и бормотал заикаясь: «Да... так точно... виноват... будет исполнено... виноват... так точно... не сомневайтесь... не доглядел... виноват...» Он пытался вытянуться во весь свой немалый рост, но голова была втянута в плечи, грозное, непроницаемое, изможденное лицо было растерянно, и на лбу посверкивали капельки пота. Все присутствующие, затаив дыхание, вслушивались в его жалкие слова. Затем он положил трубку и тяжело опустился в кресло. Лицо его из бледного стало зеленым. Пальцы быстро-быстро зашарили по столу. Кто-то суетливо подал ему валидол, налил воды... Ивану Ивановичу было его жалко.

Итак, Иван Иванович пел свои стихи, вкушал житейские несообразности, а чем больше он пел, тем больше сталкивался с сопротивлением, тем больше возникало всяческих препятствий, и в связи с этим на его, в общем, симпатичном молодом лице возникла однажды, как говорится, легкая тень недоумения, возникла да так и осталась. Надо сказать, что Иван Иванович не был человеком легкомысленным или равнодушным, напротив, его все кругом касалось, и задевало, и западало в душу, но, может быть, отчасти благодаря происхождению или каким-то индивидуальным чертам, была в нем некоторая отстраненность, такое умение отряхиваться, что ли, быть себе на уме, какое-то упрямство — и все это помогало оставаться самим собой и не терять до конца человеческий облик, перешагивая через те самые житейские несообразности. Вы скажете, что был он эгоистом и ничем, кроме собственной жизни, не интересовался. Возможно, в какой-то степени вы и правы: ну был в нем эгоизм, ну был такой инструмент самосохранения, а у кого его нет? Может быть, у каких-нибудь фанатичных альтруистов, безумцев, редчайших экземпляров, которыми принято почему-то восхищаться, но следовать которым и небезопасно, и попросту глупо. Нет, Иван Иванович был далек от этих замечательных образцов, он был обыкновенным человеком и даже в какой-то степени обывателем, хотя в степени не очень значительной. Нет, он умел смотреть на вещи широко и с пристрастием и волноваться не только за собственную

судьбу. Был он в меру добрым, и великодушным, и терпимым к чужим грехам, и, наверное, не случайно имел множество приятелей и некоторых верных друзей, прощающих ему слабость и просчеты. Но мне бы не хотелось изображать его совсем уж банальным и заурядным. Теперь, по прошествии тридцати с лишним лет, я отчетливо различаю в нем одну привлекательную особенность, а именно то, что он отличался от многих довольно-таки заметной самоиронией. Упаси бог, это не было обычным, распространенным, показушным самоуничижением, вот, мол, посмотрите, какой я смешной, непрактичный, нелепый, посмотрите-ка на меня... Нет, это была глубоко запрятанная особенность, не выставляемая напоказ, особенность для собственного, так сказать, употребления.

Но подобные абстрактные характеристики — не главное, ради чего я взялся за перо. Не отрицая их некоторого значения, я все же вернусь к гитаре, инструменту по тем временам подозрительному, ибо он олицетворял, как предполагалось, мещанские, обывательские пристрастия и не вписывался своей душещипательностью в бодрое поступательное движение вперед. Но Ивана Ивановича подобные взгляды не коробили: он был дитя своей эпохи и даже стеснялся под гитару петь, хотя петь хотелось и никаких других инструментов он не знал. Он, например, стеснялся носить обручальное кольцо, а почему — не знал, стеснялся, и все тут.

Короче, у него сложилось с десяток песен, когда однажды раздался телефонный звонок и незнакомый человек очень мило и деликатно спросил, не согласится ли Иван Иванович приехать к нему на квартиру и попеть свои песни хорошим людям. Иван Иванович сперва оторопел: это было так необычно, но тут же загорелся, предложение показалось ему лестным (чего же не попеть?), и он согласился. Договорились на семь часов, и в семь часов Иван Иванович со своей гитарой вошел в незнакомую квартиру. Его приветствовали тихие, симпатичные люди, какие-то, как после выяснилось, инженеры, филологи, медики, человек пятнадцать. В основном мужчины, но были и женщины. Все были немного смущены, Иван Иванович тоже. Тут он заметил накрытый стол, и все, приветливо улыбаясь Ивану Ивановичу, в то же время плавно кружились вокруг этого стола. На столе возвышались две водочные бутылки и одна с сухим вином, рядом — блюдо с бутербродами и еще мисочка с солеными огурчиками, ну и хлеб. Скромно, пристойно, а главное, крайне необходимо, так как нужно было снять некоторое напряжение, возникшее с приходом Ивана Ивановича.

И вот все уселись, и произнесены заветные слова, все выпили и захрустели огурчиками. Все были очень милы, и было так спокойно и просто, но за этим домашним благополучием Иван Иванович различал затаенные огни удивления, и тревоги, и временности всего происходящего, и сам он был под стать им всем слегка напряжен и, участвуя в непринужденном разговоре, думал о том, что эта временность написана на их лицах и на его, вероятно, тоже. Они все были почти ровесники, некоторые повоевали, но все прошли одну школу, а она была сурова и беспощадна, и как они уцелели? Откуда силы-то взялись ринуться вот так самозабвенно в приоткрывшуюся дверь надежд? Зеленые тени утрат, страха, унижения медленно стекали с их лиц. Как они сохранились? Их воспитывали цивилизованными рабами, не умеющими самостоятельно мыслить, их старались сделать такими, и многие не устояли, однако вот вам пожалуйста: кое-кто уцелел. Казалось, что все кончено, но стоило зазвучать словам маленькой правды, как откуда все взялось? Видимо, природа все-таки сильнее многих фальшивых теорий и жестоких диктатур и утешающей лжи...

И вот они сидели за столом — дети XX съезда, как их назовут впоследствии, и касались друг друга плечами, словно возрождали утраченное былое искусство различать, понимать друг друга, наслаждаться лихой откровенностью, презирать страх и верить в чудеса. Затем Иван Иванович взял гитару. Все замолчали. И он запел.

— Включите магнитофон! — прошелестел кто-то.

После первой песни долго царил молчание, потом один из гостей выдавил из себя, шумно вздохнув:

— Н-да, судьба...

Иван Иванович спел вторую песню, затем — третью, четвертую, и, пока он пел, задрал голову и ни на кого не глядя, он чувствовал, как круг собравшихся становился теснее, и у него немного кружилась голова, но не от выпитого, а от ощущения тайного братства и его причастности к нему, и ему хотелось шепнуть им: «Братья и сестры, не будем расставаться!» Когда он заканчивал очередную песню, он украдкой разглядывал сидящих, и ему было радостно, что его слова производят такое впечатление. Перед ним сидела женщина и глядела на него большими темными глазами. Некрасивая, но прекрасная. И улыбалась чему-то своему. Нет, не гордость от сознания совершенного владения Иваном Ивановичем и вдохновляла его, а то, что он с ними, что они все вместе — одно целое, перестрадавшее, но не утратившее человеческого достоинства.

В промежутках между песнями они вздыхали, тихонечко переговаривались и влюбленно на него поглядывали. «Что же это такое? — думал Иван Иванович, поглаживая струны. — Как удивительно и как приятно». Когда он закончил все песни, разговорились в полный голос. Выпили еще понемногу за здоровье Ивана Ивановича, и одна блондинка, кажется медик, спросила его:

— А вы понимаете, что это все для нас?..

— Не знаю, — сказал он искренне, — просто мне хочется вот так сказать... нет, я об этом не думал, но если вам это интересно...

— Тут все очень просто, — сказал один из гостей, — проще некуда. Вот, например, Москва, полночь, одиночество, какие-то смутные надежды, и все... все просто. Или война, разлуки, нелепость, смерть... но в этой простоте... или, например, этот трубач с острым локтем... почему с острым? Но все точно, простите за сумбур... Но все точно — и настроение, и всякие ассоциации...

— Дорогая моя столица!.. — громко запел кто-то.

— Перестань! — оборвали его, и все рассмеялись.

Конечно, теперь это выглядело смешно, по нынешним временам это общее восклицание из известной песни. То, что совсем недавно распевали с умилением и вдохновенно, теперь звучало как пародия. Конечно, все переменилось, и Москва тоже. Открылись глаза, и стали заметнее, всплыли из небытия ее закоулки, коммуналки, клопы и тараканы, ее пивные в чаду и при тусклом свете, и страх в глазах, и ненадежность бытия. И это все не уравнивалось ни Кремлем, ни Красной площадью, ни новыми проспектами, ни новыми мостами.

Напротив, в Москве как бы сосредоточилась недавняя затяжная беда и не выветривалась. Нет, Иван Иванович не анализировал всего этого, не обобщал. Он был составной частью большого города, он приспособился к этому бытию. Но, видимо, человеческое не было в нем побеждено окончательно, вот оно и выплескивалось, и протестовало, и маячило, словно бельмо на глазу.

— Теперь я понимаю, до какой степени мы были разобщены, — сказала брюнетка, — еще два-три года назад... Оказывается, можно быть вместе, и это хорошо...

— Боюсь, — сказал один из гостей, — что это-то кое-кому и не понравится.

— Кому? Кому?

— Им...

— Кому им?

— Ну этим, — засмеялся он. — Этим самым... тем самым, которые видят опасность в общении людей, то есть, когда мы вместе, мы начинаем размышлять, да еще вслух, и обсуждать...

И тут разговор перекинулся на роман Дудинцева «Не хлебом единым», даже не столько на сам роман, сколько на реакцию читателей, ибо в университете начался просто бунт при обсуждении, там разговор пошел уже не по существу, а по поводу, да и вообще постепенно о романе забыли, а начали поднимать проклятые вопросы — и уже политического свойства... Студенты орут, администрация кладет в штаны, какие-то совсем юные ребята всё, оказывается, понимают, дураков нет, очень острые мнения...

— Начнут сажать, — сказал кто-то из гостей.

— Не те времена, — откликнулись в ответ.

— Машина все та же, — мрачно усмехнулись в углу, — поскрипывает, да все та же...

— Кстати, мне сказал один информированный человек, что репрессировано было при Сталине десять миллионов.

— Не десять, а двадцать, — поправили его.

— Ну ты хватил, — рассмеялись за столом.

Все провожали Ивана Ивановича гурьбой до двери, жали руку, восклицали, желали счастья, договаривались о встрече, воздух был насыщен вдохновляющими флюидами, в тесной прихожей толпилась Москва, лучшая ее часть, подумал Иван Иванович. Имен он, как ни старался, не запомнил, адрес тоже. Словно ничего не было. Однако было, было. И на следующий день все они присутствовали за его издательским столом — их лица, то отчетливые, то потухающие, их силуэты, и слышались их возвышенные и тревожные голоса...

Ближе к концу рабочего дня раздался телефонный звонок, и незнакомый гражданин предложил Ивану Ивановичу заехать к нему вечером и попеть свои песни... Это был уже другой конец Москвы. И Иван Иванович, конечно, согласился. И в этой квартире было то же самое, и те же разговоры, и восклицания, и вздохи, только люди были уже иные, не вчерашние, и магнитофон был другой системы. Так он ездил. А однажды случилась презабавная история. Распровавшись с очередным милым домом, вышел он со своей гитарой в полночную Москву и, заново переживая эту встречу, вдруг почему-то отчетливо вспомнил, что хозяин квартиры — известный ученый, прощаясь с ним в прихожей, как-то странно суетливо похлопал его по плечу, потом по правому боку, словно проверил, нет ли оружия в кармане. Он ощупывал Ивана Ивановича, а сам торопливо произносил различные витиеватые комплименты. И вот потом уже на улице, вспомнив все это, Иван Иванович полез в карман и вытащил оттуда красную тридцатку. Он почувствовал себя очень нехорошо и покраснел, и намеревался кинуться обратно, и вернуть, и сказать что-нибудь такое резкое и убедительное, но адреса, как всегда, не помнил — ни квартиры, ни этажа, ни замысловатой фамилии ученого. И тут вынырнуло ночное такси, Иван Иванович с комфортом доехал до дому, успокоился и даже подумал, что честным путем заработанные деньги рук не жгут. Да, вот так он и ездил по разным адресам изо дня в день, месяц за месяцем в неизменном своем сером пиджаке-букле, с усиками своими и еще достаточно пышным чубом, бывший фронтовик, член партии, с мещанским инструментом под мышкой, в метро, в троллейбусе, изредка в такси, и никто из прохожих не знал ни его самого, ни тем более его прошлого.

В самый разгар этой странной его деятельности нежданно был он вызван в московский горком партии.

Заведующий отделом культуры выбрался из кресла, из-за громадного стола, сам громадный, сутуловатый, в черном костюме при галстукке, пошел навстречу, протянув Ивану Ивановичу широкую горячую ладонь.

— Отар Отарыч! Ну вот и свиделись. А то все кругом «Отар Отарыч», «Отар Отарыч», а мы и не пересечемся. Ну что это такое, я вас спрашиваю? Садитесь, пожалуйста, вот так... — И сам ловко погрузился в кресло.

Иван Иванович был в своем букле и без галстука, и вообще к такой высокопарной встрече не был готов. Этот прием его просто обескуражил. Он ждал окриков, зловещих внушений, а тут пожалуйста. Заведующий принялся его расспрашивать о том о сем, о каких-то пустяках, но при этом Иван Иванович видел его большие недоумевающие голубые глаза и немного терялся перед ними. Эти глаза так разглядывали Ивана Ивановича, будто до этого ничего подобного не видели, с любопытством, недоумением и даже со страхом. Страх-то откуда? — подумал Иван Иванович, улавливая эту искорку. Это спустя много лет он стал понимать состояние заведующего, лет двадцать должно было миновать, чтобы посмотреть на самого себя глазами хозяина кабинета: ну действительно, этот серый пиджак, эти усики на тощем лице — и вдруг коммунист, поющий под гитару всякую декадентщину, эти ноющие интонации. Нет, не Павка Корчагин,

не Олег Кошевой — поводов для напряженности более чем. Заведующий очень старательно демонстрировал доброжелательность.

— Вот вы какой, Отар Отарыч! — воскликнул он тихо. — А я-то представлял вас высоким, широкоплечим, а? Ну, как вам работается?..

В этот момент в кабинет аккуратно вошли двое. Мужчина и женщина. Мужчина оказался заместителем заведующего, а женщина инструктором горкома. Хозяин кабинета, широко улыбаясь, представил всех друг другу. Заместитель был человек пожилой, не улыбочивый. Он тоже был в черном костюме. Он кивал заведующему и не отводил взгляда от Ивана Ивановича.

— Сергей Митрофаныч учился в музыкальном училище, — сказал заведующий о своем заместителе. — Так что в музыке разбирается за-а-амечательно, вообще любит музыку, так что, Отар Отарыч, не только вы музыкант, не только...

Иван Иванович напряженно улыбнулся.

— А Любовь Петровна у нас почти писатель, — засмеялся заведующий, — училась на литературном факультете, так что, Отар Отарыч, все у нас люди грамотные, мы не лыком шитые, Отар Отарыч...

Все трое разглядывали Ивана Ивановича не чинясь, не с городским пустым интересом, а обстоятельно, въедливо, с пристрастием, и Ивану Ивановичу хорошо вспомнились искривленные в вежливой улыбке губы и неотвратимые осуждающие глаза.

— А кем вы себя, Отар Отарыч, считаете, — спросил заведующий, — кто вы: композитор, поэт, певец?

— Ну какой же я певец, — усмехнулся Иван Иванович, — и не певец, и не композитор. Какой же я композитор? Я и нот не знаю. Так, стихи пишу...

— Но ведь поете, Отар Отарыч, и на гитаре играете...

— И музыку сочиняете, — вставила Любовь Петровна.

— Это не музыка, — слукавил Иван Иванович, — так, легкий аккомпанемент.

— А вы кому подражаете? Дунаевскому? — спросил Сергей Митрофаныч, профессионально улыбнувшись.

— Нет, — оторопел Иван Иванович, — не подражаю.

— А кому же?

— Никому...

— А зря, — удивился Сергей Митрофаныч, — надо бы Дунаевскому, хороший композитор, лауреат.

Тут ему вспомнилось, как много лет назад при редакции большой молодежной газеты было организовано литературное объединение. Иван Иванович пришел туда школьником. Разных людей соединило то первое собрание. Они все пописывали понемногу, их обуревала жажда творчества. Главный редактор газеты тогда сказал им: «Симонова читали? Нравится? Ну еще бы... Так вот считайте это эталоном. Ничего выдумывать и изобретать не надо. Пишите, как он пишет». Это прозвучало внушительно. Лишь один какой-то маловвер тоненько хихикнул, остальные же хранили благоговейное молчание.

А вот теперь — Дунаевский.

Иван Иванович вытер платочком пот на лбу и подумал, что жизнь его приобретает новое качество, что-то такое ранее незнакомое вторгается в нее, кто-то неведомый обратил на него свое неблагоклонное внимание...

— Вот мы тут, Отар Отарыч, послушали ваши песни, — сказал заведующий, — и так нам показалось, что как-то вы немного от жизни отделились, как-то все у вас слишком грустно и не соответствует нашему времени...

— Кстати, героическому, — вставила Любовь Петровна.

Иван Иванович вдруг почувствовал, что его прелестное свойство относиться ко всему чуть насмешливо погасло. Он попытался губами изобразить иронию, но в душе-то была пустота, и он не знал, как им ответить. Да они и не поймут, подумал он, видя их глаза.

— А ХХ съезд? — сказал он без надежды. — Разве это не грустно, то, что мы пережили?

— Что пережили? Что пережили? — спросила Любовь Петровна. — Кто пережил? Ну, пережили... и давайте засучим рукава.

— Вот это верно, — засмеялся голубоглазый заведующий, — рукава... И все-таки о песнях...

— У Дунаевского музыка бодрая, вдохновляющая, — сказал Сергей Митрофаныч. — Зря вы ему не подражаете, ох зря...

— И в текстах ваших, я смотрела, — сказала Любовь Петровна, — какие-то намеки, ну не намеки, а какие-то так, исподтишка, что ли, и молодежь наша недоумевают, тут мне молодые люди говорили, что они не согласны, им это чуждо...

— Ну пусть не слушают, — рассердился Иван Иванович, — я не для них пишу...

— А для кого же? — засмеялся заведующий.

— Для своих друзей, — сказал Иван Иванович, — им нравится.

— А кто ваши друзья, извините? — спросил Сергей Митрофаныч.

— Хорошие люди, — сказал Иван Иванович, пожимая плечами.

— А есть среди них рабочие? — вкрадчиво спросил заведующий. — Нет, Отар Отарыч, рабочие этого искусства не примут, — и он помрачнел, — а вот городские пижоны всякие, всякие прохиндеи, отщепенцы всякие, они ведь вокруг вас вьются, их медом не корми — дай им какой-нибудь клубнички...

Любовь Петровна тяжело вздохнула.

— Я не понимаю, — сказал Иван Иванович возбужденно, — что это вы меня судите? Я пишу что умею и думаю как умею, а вы судите. Разве я кому-нибудь навязываюсь?

— Не туда зовете, — сказал Сергей Митрофаныч и посмотрел на заведующего.

— Вы же член партии, — сказала Любовь Петровна и сделала вид, что улыбается.

Тут Иван Иванович рассердился и хотел крикнуть: «Пошли прочь!» — но, смущенно улыбувшись, тихо сказал:

— Не знаю, может, вы и правы...

— Ну вот, — облегченно засмеялся заведующий, — вот видите, Отар Отарыч, как оно все...

И все заулыбались.

— Кстати, — сказала Любовь Петровна, — у вас есть песенка, как парнишка пошел на войну... ну этот, как его...

— Это Ленька, что ли? — спросил Сергей Митрофаныч.

— Ну да, — сказала Любовь Петровна, — и он погиб, и некому, мол, его оплакать. Это как же?

— Ну, товарищи, — развел руками Сергей Митрофаныч.

— Видите ли, — сказал Иван Иванович, — это мой друг, и он действительно погиб... и оплакать его некому: невесты у него не было...

— Так ведь не все же погибли, — засмеялся заведующий и подмигнул голубым глазом, — а потом, как же это некому оплакать? Живые-то остались, Отар Отарыч? А комсомол? А профсоюзы? Вообще люди, друзья... Вот вы, мы с вами, а? Мы ведь пока живые, а, Отар Отарыч?

— Я думаю, — сказал Сергей Митрофаныч мрачно, — нельзя эту песню исполнять, нельзя. Она неправильно ориентирует молодежь.

— А Отар Отарыч и сам это понимает. Верно, Отар Отарыч? — сказал заведующий. — Вы вот про целину слыхали? Какой энтузиазм, верно?

— Да, — сказал Иван Иванович. Он знал о целине. Об этом говорилось и писалось. Эфир был наводнен бодрыми песнями. В одной были такие слова: «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я». Он представил себе лица своих друзей. На них было написано отвращение.

— Вот если бы вы да с вашим талантом, — сказал заведующий, — да сочинили бы песню, ну хоть о той же целине, бодрю такую, понимаете, зовущую, цены бы вам не было, а, Отар Отарыч?

— Понимаю, — слукавил Иван Иванович. Благодаря некоторому легкомыслию он с ума не сошел, хотя в душе бушевали бури и грезилась всякая чертовщина.

Они распрощались дружески, хотя каждому из них хотелось сказать еще что-то важное и острое, но хорошее воспитание сдерживало порывы. Так, Любовь Петровна, например, хотела сказать: «Сбрили бы вы эти усики. Ну что они вам, коммунисту?» — но не сказала. А Сергей Митрофаныч изготовился произнести: «Что вы разнылись о судьбе да о душе, цыганщину развели!» — но тоже сдержался. Что же до заведующего, то тут было сложнее, ибо голубые глаза его потухли, он заторопился; пожимая руку, глядел в сторону. А Иван Иванович никак не мог понять: на самом деле они подружились или это спектакль? Шагая по улице, он вдруг поймал себя на том, что ему приятно, что вот его пригласили в такое высокое место, его знают, даже сначала растерялись перед ним.

Ивана Ивановича лихорадило от приятных комплиментов, расточаемых благожелательными людьми, и суетливая мыслишка о том, что вот он нашел какую-то такую важную струнку, действующую на сердца, мыслишка эта шевелилась в его разгоряченной голове. Но, с другой стороны, вежливые холодные недоброжелатели торопились скептически усмехнуться или укорить взглядом, или жестом, или словом, или призвать одуматься, или даже потребовать что-нибудь нелепое, но вполне приемлемое, по их разумению. И эти укоризны перемешивались с комплиментами, и получалось несколько странное месиво, вызывающее как раз лихорадку.

Между прочим, через три года у него появилась «Песенка об идиотах», и его тотчас же вызвали в горком партии. Правда, там уже были другие люди. Они были вежливы и сдержанны, но облачко предвещало грозу. И они сказали:

— Ну что это еще у вас за песенка такая?

— Какая? — спросил Иван Иванович, напрягшись.

— Ну эта... об идиотах... Об идиотах, да?

— А-а-а, — сказал Иван Иванович, — ну да... ну песенка...

— Не надо, — брезгливо сказали ему, — ну какие еще дураки? Так ведь можно подумать... не надо, не надо... Кстати, есть же у вас замечательная песня о Леньке Куравлеве. Ну и пойте ее. А вы «дураки»... «дураки»...

Он, конечно, не воспринимал все это очень уж серьезно, но кое-какие выводы все же делал, понимая, что с этой машиной можно шутить лишь до известного предела. Был ли Иван Иванович хитрым? Нет, он не был хитрым, хотя некоторая ловкость ума ему была присуща. Он не был и приспособленцем в том отвратительном значении, которое мы придаем этому понятию, но некоторая способность приспособливаться все-таки была ему свойственна, как всякому члену общества, а особенно этого, к которому он имел честь принадлежать.

Ивану Ивановичу хотелось издать книжку своих стихов. Он складывал их в голубую папку, время от времени перечитывал, кое-что выправлял, кое-что заменял. Папка понемногу пухала. Грезились всевозможные удачи и комплименты. Грезились, а с кем это не бывает? Можно было бы даже упрекнуть Ивана Ивановича в nepозволительной слабости чувств, когда бы он пустился во все тяжкие, но он ведь не пустился. Он не хотел уподобляться некоторым московским стихотворцам, обожающим собственные стихи на протяжении многих лет. Ну они просто не могли усомниться в собственных совершенствах, и их вдохновенные туповатые лица возникали перед ним, и не было более совершенного оружия против самообольщения. Нет, думал Иван Иванович, лишь бы не уподобиться этим несчастным.

Голубая папка пухла и росла. Она лежала в ящике служебного стола, и тихое шуршание ее листов заглушал шум жизни. Неизвестно, сколько она пролежала бы так без движения, как вдруг однажды в редакции появился Женя Евтушенко, молодой, двадцатичетырехлетний, высоченный, худой, в голубой рубахе с короткими рукавами, с русым ежиком на голове, с

обворожительной улыбкой фавна, востроносенький, похожий на долговязого Буратино... Он был уже известен, даже знаменит.

Их знакомство было недавним. Молодому поэту понравились песни Ивана Иваныча, и он теперь сгорал от доброжелательства и любопытства. Молодость, ранний успех, благорасположение светил — все это отражалось в его немного нескладной фигуре, размашистых жестах, улыбке, желании поделиться собственной удачей, осчастливить всех вокруг... Он фантазировал, прожектерствовал, лукавил, привирал, исповедовался, поглядывая на сидящих в комнате редактрис, словно напоминал: это все для вас, для вашего удовольствия, для вашего приятного недоумения, чтобы растормошить вас, приобщить, и даже вдохновить, и даже зажечь, ибо вы погрязли в этих серых, удручающих буднях и крайне нуждаетесь в его вдохновении, таланте, щедрости и участии. Он может все, и он вам отколет от своих житейских слитков большой увесистый кусок: знай наших, помни...

Иван Иваныч был по натуре человеком сдержанным и не слишком словоохотливым (черт знает отчего у него так было. Может быть, и от комплекса неполноценности), и он лишь слушал и кивал, тайно наслаждаясь вниманием к себе, особенно приятно было воспринимать все это со стороны известного поэта, ибо Иван Иваныч успел уже узнать небогатую щедрость собратьев по перу.

— Я был в деревне и напил там кучу дров, — сообщил Евтушенко.

— Кому? — спросил Иван Иваныч.

— Ну кому было нужно, — сказал Женя, — нанимался и пилил.

Редактрисы ахнули.

— Зачем? — спросил Иван Иваныч.

— Ну заработал. — И вытащил из кармана смятые пятерки и трояки.

Усталые редактрисы за соседними столами, оставив свои перья, слушали его с напряженным вниманием и легким подобострашием. Все, кроме одной. Та была равнодушна и демонстративно смотрела в окно.

«А ведь я так не смог бы, — подумал Иван Иваныч, — какая жалость...»

И тут он вспомнил их первую встречу. Это было прошлым летом. Он заехал к своему единственному знакомому литератору — Сергею Наровчатому. Теперь трудно сказать, чем был вызван его приезд, но он приехал к поэту в его коммунальную квартиру в Волконском переулке, где в маленькой, тесной комнатке облупившегося старого дома и застал поэта в полном оцепенении. Он сидел у давно не мытого окна, большой, грузный, посыпанный пеплом от папирос, в прошлом пронзительный красавец, этакий обрюзгший римский патриций, загнанный в московский коммунал, страдающий от отсутствия денег и возможности выпить, и Ивану Иванычу захотелось его ублажить, ему было лестно расстараться для такого поэта, встретившего его с неподдельной радостью. Большие, чуть поблекшие голубые глаза ребенка, и улыбка на мясистых губах, и самые располагающие ленивые интонации опустившегося барина:

— Хорофо, что ты, брат, прикатил! Футка ли, мы не виделись уже больфе года... А у меня, понимаеф, ничего нет, чтобы отметить. Галя, понимаеф, ничего не оставила, черт побери!..

А у Ивана Иваныча было с собой как раз немного денег, и он, чтобы потрафить гению, бросился в ближайший гастроном, купил поллитровку, сыру и стремительно воротился.

Надвигались летние сумерки. Они торопливо разгребли место на захламленном столе и выпили. Наровчатов счастливо вздохнул. Засосал папиросу. К сыру не притронулся. Благоклонно смотрел, как Иван Иваныч закусывал сыром.

— Ну давай, давай же еще по одной, брат, — сказал Наровчатов капризно.

Они выпили еще.

— Спефыть не надо, — сказал Наровчатов, — но и затягивать глупо. — И опрокинул последние полстакана и тут же задымил. Иван Иваныч захмелел и поэтому лихорадочно закусывал сыром. Бутылка была пуста.

— Знаеф, — сказал Наровчатов, — не мефало бы добавить.

— Давай! — откликнулся Иван Иванович с готовностью, еще пуще хмелея от сознания причастности к великому загадочному племени.

— Знаеф, — сказал Наровчатов, — у тебя есть деньги?

— Есть! — радостно отозвался Иван Иванович.

— Тогда махнем в Дом литераторов, пока нет Гали?

И они, покачиваясь, покинули мрачный коммунал и поехали на улицу Воровского.

— Со мной, — сказал Наровчатов привратнице у входа, и Ивана Ивановича пропустили.

В тесном ресторанчике Дома литераторов переливались голоса, клубился папиросный дым. Иван Иванович был здесь впервые. Голова кружилась, но он еще хорошо различал лица, слова, наслаждался, ощущал себя избранным, посвященным, удостоенным. За дальним столиком в одиночестве сидел Михаил Светлов. За соседним столиком справа — Семен Кирсанов. Слева, господи боже мой, Евтушенко в компании неизвестных. Рядом с ним — совсем юная скуластенькая красотка с челочкой. Сидели те, чьи стихи залетали уже и в далекие края, о ком доносились отрывочные известия и слухи. Сидели живые, рядом, можно прикоснуться! Наровчатов заказал пол-литра и какую-то еду. Теперь уже было все равно.

— Я предложил на правлении соорудить здесь камин, — слышался голос Кирсанова, — представляешь? Громадный камин, в котором можно зажарить целого оленя!

— Прав-ле-ни-е... — с благоговением произнес Иван Иванович.

— Послушай, — сказал Евтушенко кому-то из своих, — у меня пятнадцать тысяч. Давай сейчас махнем в Сухуми?

«Пятнадцать тысяч! — поразился Иван Иванович, — пятнадцать тысяч!» Эта сумма казалась ему недосягаемой. «Пятнадцать тысяч!» — подумал он, трезвея.

Наровчатов тем временем допивал очередной стакан. И непрерывно курил. Он начал было читать Ивану Ивановичу свои стихи, но сбился и снова потянулся к бутылке.

— Чего же ты, брат, не пьешь? — спросил он.

— Я пью, — пролепетал Иван Иванович, пытаюсь осознать свалившееся на него внезапно: как, должно быть, замечательно, имея свободные пятнадцать тысяч, махнуть в Сухуми и через два часа сидеть у моря, а после махнуть в Тбилиси, а после — во Львов, к примеру, и снова — в Москву, и ввалиться сюда в дом на Воровской...

— На По-вар-ской, — по складам произнес Наровчатов.

Тут к ним за столик подсел какой-то писатель со своим фужером и бутербродом на блюде.

— Привет, Серега, — сказал он.

— Ах, здравствуй, здравствуй, — обрадованно выдавил Наровчатов.

Писатель выпил свой коньяк, пожевал бутерброд, ткнул пальцем в Ивана Ивановича и спросил без интереса:

— А это кто?

— Это Отар Отарыч, — пробубнил Наровчатов, стараясь не выронить из слова ни одной буквы, — мой друг и поэт.

— Отар Отарыч, — усмехнулся писатель, — что-то много развелось нынче Отар Отарычей, а, Серега? Ты не находишь?

— Ну ты, заткнись! — приказал Наровчатов. — У него отца расстреляли в тридцать седьмом!

— Туда и дорога, — засмеялся писатель. Иван Иванович попытался ухватить вилку, чтобы проучить обидчика, но руки не слушались, и он заплакал.

В этот момент широкая мясистая ладонь Наровчатова хлестнула по розовой щеке писателя. Кто-то крикнул. Крик подхватили. Дым за клубился пуще. Официантка, широко улыбаясь, пробежала с подносом. Затем все улеглось. Полились прежние монологи за соседними столиками. Только там уже сидели другие писатели, а за их столиком они сидели вдвоем: одуревший Иван Иванович и спящий Наровчатов. Как они расплатились, Иван Иванович уже не помнил,

и как выволакивал грузного невменяемого поэта — не помнил, но он его выволок на своих узких плечах, и усадил в такси, и отвез на Волконский, и водворил в коммунал. Дородная Галя брезгливо его оглядела и спросила:

— А вы кто?

— Я друг, — пролепетал Иван Иванович.

— Настоящие друзья с ним не пьют, — сказала она с отвращением.

Ехал домой и повторял с ужасом и восхищением: «Пятнадцать тысяч! Пятнадцать тысяч!..»

Так это и запомнилось. И вот теперь фантастический обладатель пятнадцати тысяч сидел перед ним в синей простенькой сорочке, только что отработавший пилой и топором, и редактрисы не отводили от него горящих взоров, кроме одной, поджавшей губы и пренебрегающей.

— Женья, — спросила одна из редактрис, — а как ваша молодая жена относится к этим заработкам?

— Ну что жена? — сказал Евтушенко. — Она гениальная поэтесса. Ее надо кормить и одевать. — И рассмеялся. Затем ткнул в голубую папку: — Дай мне почитать твои стихи... — И уехал вместе с голубой папкой.

Однако самое фантастическое произошло следом. Через несколько дней Ивану Ивановичу позвонили из издательства «Советский писатель», и милый девичий голос сообщил ему, что на его стихи получена очень хорошая рецензия Павла Антокольского и издательство намерено выпустить книжку Ивана Ивановича уже в будущем году! «Господи, — подумал Иван Иванович, — как стремительно!» И конечно, тут же вспомнил, как буднично увозил с собой его голубую папку юный, худой и долговязый поэт.

Среди писем, которые начали слетаться к Ивану Ивановичу, все чаще встречались написанные женской рукой, источающие не только изощренные ароматы косметических средств, но и дружеское расположение, негу и даже любовь; и загадочные сигналы исходили из них; и Иван Иванович, сам того не замечая, стал чаще поглядывать в зеркало: какой он, что он. Ну что он видел в зеркале? Рост один метр семьдесят шесть сантиметров, узкие плечи, довольно-таки пышный темно-каштановый чубчик, усики, не слишком античный нос, привлекательный разрез губ, да и, пожалуй, все, потому что глаз он не видел, то есть, как и все, он не мог понять своего взгляда, это было ему недоступно. Он видел зрачки, ну мог догадаться, что они карие, но понять этого всего и оценить не мог. У других — пожалуйста, а у себя — бесполезное занятие.

Иногда он видел там заурядную фигуру, похожую на всех, ослепленную своими маленькими удачами, жадную на похвалы и трусливо скрывающую свои несовершенства. Он сжимал зубы, и щеки вваливались, и это уже было не лицо молодого мужчины пятидесятих годов, а безумная маска ничтожества, претендующего на роль поэта. Тогда он торопливо перечитывал письма дурочек с признаниями в любви, и это как-то немножко спасало от полного отчаяния. Нет, это значительно позже он понял, как полезно разочарование в себе самом, научился ценить это чувство, а тогда он всматривался, ужасался, расстраивался и с признательностью перечитывал письма, и, представьте, отходило, и становилось легче дышать. И тогда он начинал воображать себе своих корреспонденток, ну, конечно, приспособливая их под свои мерки, которые тогда, в те годы, не отличались изощренностью, и у него начиналось приятное сердцебиение. Они взирали на него изо всех углов, готовые сложить к его ногам свои судьбы. В общем, все было банально, но он об этом не задумывался. Он был словно сухой трут, готовый вспыхнуть в любое мгновение.

И вот тут как раз и позвонил ему его приятель, назовем его Ковалевым, из тех, которым лестно было в те годы общаться с Иваном Ивановичем, провинциал, время от времени наезжающий в Москву по делам службы. Дела, однако, не мешали ему помнить, что жизнь коротка, и он суетливо и неразборчиво служил этой формуле, словно язычник — деревянному идолу. Не знаю, может быть, в одиночестве, в часы раздумий о смысле жизни, как это свойственно, наверное,

всем, глаза его переполнялись раскаянием и лицемерием таких высот человеческого духа, что голова кружилась, не знаю, может быть. Но перед Иваном Ивановичем он постоянно представлял свободным от этих вожделий, и вожделия иного рода кружили ему голову.

Он всегда приезжал в Москву неожиданно, на денек-другой. С его приездами были связаны непредсказуемые любовные утехы, неприхотливые безумства, ничтожные восклицания, пустые обещания, которым никто, конечно, не верил, торопливые хлопоты и, наконец, ощущение неправдоподобного пробуждения.

И Иван Иванович с восторгом врывался в эту незатейливую стремительную жизнь и лихорадочно кружился, забываясь, чтобы уже через сутки удивленно разглядывать себя в зеркало и испытывать даже отвращение, даже раскисаться почему зря.

Вот и сейчас раздался этот звонок, и они договорились встретиться на Арбате, у зоомагазина, именно там, потому что там должны были совершиться карнавальные фантазии непредсказуемого Ковалева.

— Гуляем, старичок, гуляем! — сказал Ковалев и подмигнул всем лицом, как он один и умел. — Две роскошных студентки, братец, ждут нас у себя. Одна моя. Я ей говорю: «Приведи подружку для друга», она говорит: «Уже дожидается!» Представляешь? Я прямо с поезда, дух захватывает... Ты как? Песенки пишешь? Все их поют. Сейчас в поезде пели. Я им говорю: «Это мой лучший друг написал». Они говорят: «Да брось трепаться, это Отар Отарыча песни». А я им: «Так он и есть мой друг!» Представляешь? Вся Россия поет! — И он посмотрел влюбленно.

Иван Иванович вдруг четко представил себя со стороны бегущего в гастронорм перед случайным свиданием и подумал: «Что я делаю? Какой ужас?..» И он едва не расхохотался, но рядом просигналил автомобиль, и ужас развеялся. И он снова подумал с облегчением: «А черт с ним, пусть оно все провалится — и издательство вместе с директором, и высшая мораль, и дружба народов, и лучшее будущее». Он так подумал, потому что, хоть и не очень уважал Ковалева, его розовые щечки, его равнодушные глаза, его анекдотическую настроенность всегда на одно и его пустые восклицания, но все-таки приятно было погружаться в малознакомый, возбуждающий, непредсказуемый поток, словно в бездну.

— Надеюсь, там не будет посторонних? — спросил Иван Иванович.

— Да ты что, — удивился Ковалев, — твоя и моя, и мы с тобой. Уж я-то не посторонний?.. — и рассмеялся, обняв Ивана Ивановича по-дружески.

Они почти бежали.

У Ивана Ивановича, на счастье, в кармане похрустывал свеженький гонорар, но они решили сначала познакомиться с дамами, с которыми предстояло пуститься во все тяжкие, и ведь бог его знает, как оно все обернется: то ли на день, а может случиться, и на век. Разве не бывает? Как они там, предупрежденные, длинноногие, расчетливые москвички? Должно быть, топчутся в прихожей, марусеньки, уже марафет навели... Лето. Полдень. Пора выяснения отношений.

— Это хорошо, старичок, что у тебя гонорар, — сказал Ковалев, задыхаясь, — у меня-то, сам понимаешь, командировочная десятка... А ведь надо пропустить, чтобы дым пошел, а то и вспомнить будет нечего. Когда станем инвалидами-пенсионерами, и вспомнить будет нечего, а?..

И бежали, летели, вытянув шеи, словно борзые.

— Кто они? — успел спросить Иван Иванович.

— Моя — студентка Шукинского училища. Вот такая! А твоя — не знаю... Не успел спросить. Да тебе-то что? Были бы ноги, как говорится...

«И этот про ноги», — подумал Иван Иванович, не выдерживая сладостного напряжения.

В сумрачном подъезде старого доходного дома было прохладно.

— То ли у них общежитие, то ли они квартиру снимают, — прошелестел Ковалев, — черт их знает, не успел спросить, — и остановился перед квартирной дверью. Быстренько пригладил

проборчик, растер щеки, оправил воротничок. Толстым решительным пальцем щелкнул по кнопке звонка, и дверь тотчас отворилась.

Две очаровательные, действительно длинноногие молодые красотки встретили их в прихожей.

«Которая моя?» — нетерпеливо подумал Иван Иванович. Девушки уставились на него с откровенным интересом. Ему даже стало неловко за товарища.

Ковалев расцеловал дамам ручки. «Которая же моя?» — снова подумал Иван Иванович, сгорая. Одна была блондинка, другая брюнетка. Обе были хороши и в отличие от заурядных ширпотребовских москвичек даже загадочны. Они не сводили глаз с Ивана Ивановича, а он опять не мог догадаться, которой из них благосклонные сигналы все-таки принимать в первую очередь.

— Ну вот, — сказал Ковалев, — познакомились, а теперь мы смогаемся в гастрономчик, а вы тут то да се, туда-сюда, а потом со свиданьем, а?

— Ладно, — сказала блондинка по-хозяйски, — мы тут пока все подготовим... Ну не Ковалев, а золото... Откуда у тебя столько денег кормить всех?

— Командировочные! — захохотал Ковалев.

По тому, как блондинка говорила, Иван Иванович понял, что хозяйка она. А стало быть, брюнетка — его. Блондинку звали Нина, брюнетку — Света.

Они направились к выходу.

— Света, — сказал Иван Иванович по-свойски, — мы мигом.

— Ага, — сказала она, — давайте, — и лениво улыбнулась.

Они бежали к Смоленскому гастроному.

Иван Иванович подумал, что эта ленивая улыбка, которой его одарила Света, и есть та самая улыбка, после которой начинается праздник. «Какое счастье, — думал он, торопясь к гастроному, — что у меня как раз в кармане гонорар!» Действительно, при обычном безденежье эти двести с чем-то рублей были большим счастьем. Приятно чувствовать себя раскованным и независимым, и это, пожалуй, значительней, чем несколько опубликованных в журнальчике стихов, которых никто не читает. И тут вообще все померкло перед ним: и деньги, и стихи, и успех, — все померкло перед настоящим свиданием с длинноногой брюнеткой.

— Послушай, — проговорил он, — я заметил там несколько комнат...

— Угу, — отозвался Ковалев.

— Представляю, как мы потом замечательно разбредемся!..

— Разбредемся, — засмеялся Ковалев, — разбредемся, старенький.

В гастрономе они стремительно перебежали от отдела к отделу, запихивали в шелковые авоськи Ковалева бутылки и снедь, и перемигивались, и переговаривались с помощью междометий. Это была еще та пора жизни, когда не задумываешься, что будет потом. Это теперь, собираясь, ну, скажем, в гости, знаешь, как все будет, что получится в результате: приветствия, рассаживание, фальшивые побрякивания, разные там бодрые восклицания, а после — томительное ощущение пустоты на полный желудок и желание уйти, исчезнуть, раствориться, а потом отпаивать себя чаем, боржоми, а потом, утром другого дня, страдать от тяжести в желудке и в голове... Так теперь. А в молодые годы ничего этого нет, никакого предвидения. Предскажи кто-нибудь завтрашние неудобства — в ответ тотчас же: «Иди-ка ты...» Некогда об этом размышлять, некогда и зачем? Там две длинноногие красотки в пустой квартире и — карнавал... Одна из них твоя. Она ждет. И тут Иван Иванович ощутил необыкновенную легкость, подумав, что они его не знают и можно назваться Андрюшей или Сережей, что поэтому они бескорыстны, и это особенно их украшает.

— Старичок, куда ты так быстро? — спросил, задыхаясь, полноватый Ковалев, когда, всего набрав, они трусили обратно по Арбату. — За тобой не поспеешь!

Бутылки позванивали, прохожие сторонились. Все было забыто: стихи, вдохновение, вздорные издательские будни, восхитительные завтрашние прожекты, мама, вернувшаяся из

лагерей, оплеванная юность, все, кроме этого вождельного мига, ждущего за ближайшим углом...

— Старичок, — прохрипел Ковалев, — не перегружайся, тебе вредно!

— А знаешь, — крикнул Иван Иванович, — эта Света ну просто прелесть! Не какая-нибудь профурсетка, а вполне достойная, и у нее такое лицо, такие глаза! Какой ты молодец, Ковалев!

Ковалев подмигнул ему, по своему обыкновению, и они продолжали свой бег.

И эта таинственная квартира — старая испытанная крепость, ристалище, вместилище чувств, распределительница утех, вершительница судеб!..

Двери им открыл неожиданный незнакомый мужчина. За его спиной в прихожей передвигались многочисленные тени. Иван Иванович, оторопев, вглядывался в них — искал Свету.

— Ура, — сказал Ковалев без удивления, — вот и мы.

Ловкие руки приняли у них авоськи. Беленькая Нина была тут как тут.

«А где же моя?» — подумал Иван Иванович. Но Светы не было видно. Зато теперь отчетливо различались какие-то люди, довольно молодые. Их было множество. Они заполнили всю прихожую, их любопытные лица выглядывали из комнат.

С ним почтительно здоровались. На него смотрели откровенно и с приязнью. В главной комнате на большом овальном столе уже поблескивали рюмочки и бокалы, и стремительно прибавлялись всяческие блюда с закусками, и, позванивая, вставали бутылки на свои места.

«А где же моя?» — подумал Иван Иванович и тотчас увидел Свету. Она стояла у дальнего конца стола рядом с прекрасным бородачом, и его рука возлежала на ее плече. Иван Иванович совсем потерялся от столь непредвиденного, уже ничего не понимал, а лишь мучился, делая при этом приятное лицо, отвечая на поклоны и на улыбки. Вместо ожидаемого прелестного, вождельного, московского междусобойчика, тет-а-тетика, как говорил Ковалев, предстояло шумное многолюдное сборище. На круглом и, видимо, горячем плече Светы покоилась чужая ладонь. А между тем как она смотрела на Ивана Ивановича из-под этой ладони! Какие-то туманные предчувствия обступили его, нечеткие, хоть и знакомые.

Может быть, в этот момент и родилось в нем очищающее чувство самоиронии, еще робкое, жалкое, но уже спасительное, когда он, вглядевшись в Светино бородача, понял, как тот красив, уместен и правдоподобен, как широка и, видимо, на самом деле горяча его ладонь на плече недоступной теперь брюнетки, и как он сам, Иван Иванович, тщедушен и неказист и случаен в этой квартире. Он посмотрел на себя ее темными глазами и готов был рассмеяться, когда бы не обида и на Ковалева, учинившего эту операцию, да и на самого себя.

— Не тушуйся, старичок, — шепнул ему Ковалев, проскальзывая мимо, — сейчас немножко заложим, а потом — все остальное...

— А что же остальное? — спросил Иван Иванович, попытавшись саркастически усмехнуться, но Ковалев уже кружился в другом конце комнаты.

Видимо, Нина была главной в этой квартире: она рассаживала своих многочисленных гостей и что-то говорила, указывая на снедь, и все расселись, и зазвучали вилки, и яства полетели на тарелки. Иван Иванович не слышал слов, он теперь все время ждал, когда же произойдет главное, потому что он понимал уже, что должно произойти. Бородач подкладывал Свете закуску, и она улыбалась ему, иногда постреливала в сторону Ивана Ивановича. Потом вдруг с левой стороны стола до него донеслось его имя, он вслушался, но тут все потонуло в радостном бульканье водки. Ковалев с набитым ртом подмигнул ему, но какая-то легкая смущенность таилась в его улыбке. Все выпили. Иван Иванович напрягся, понимая, что вот сейчас-то все и произойдет. И ему стало обидно, что так это получилось, и, конечно, с помощью Ковалева. Затем выпили снова. Бородач что-то сказал Свете, и она сдержанно засмеялась. Она была очень красива. Все в ней было на славу, кроме, пожалуй, как заметил Иван Иванович, манеры жевать, как-то это получалось медленно, однообразно, словно у старой черепахи, и так выглядело странно рядом с высоким лбом, глубокими темными глазами. И это немного утешило.

Затем все резко оборотились к нему, все улыбались, и кто-то сзади сказал в самое ухо:

— Отар Отарыч, спойте нам что-нибудь... Ему протягивали гитару. В этот момент он вспомнил, как они бежали в гастроном и набивали свои авоськи во имя Светы и Нины, и как он предвкушал тайную вечерю, и неведомая московская квартира сулила ему неземные блаженства. Предатель Ковалев, устроившийся за его счет, сидел рядом с Ниной, и они оба подмигивали ему и улыбались.

— Ну, Отар Отарыч...

У предателя были по-прежнему розовые щеки, и влажные, страдающие глазки, и смущенная улыбка. В общем, он выглядел вполне симпатично, как и все предатели, покуда не прижатые к стенке. Корысть его была общечеловеческой, даже трогательной, но предательство его оказалось столь внезапным, что у покладистого Ивана Ивановича вспотели ладони и перехватило дыхание. Нет, он не помышлял ни о мести, ни об устыжении предателя, ни о чем этаким, но что-то возникло в нем — то ли арбатское, то ли кавказское, что-то загадочное и горячее. Он посмотрел на часы и заявил громко притихшему столу:

— К сожалению, друзья, я опаздываю. Мне пора. — И под сокрушенные вздохи и восклицания вылез из-за стола и побежал к выходу.

— Старик! — крикнул вслед пунцовый Ковалев. — Погоди!

Но Иван Иванович бежал, перескакивая через ступеньки, гордясь своей решительностью, сопя от обиды, с последней пятеркой в потертом кармане.

Стихи писались, мелодии сочинялись. Из лагерей возвращались оставшиеся в живых. Пресса слегка раскрепощалась, робко, половинчато, но все же. Дышалось чуть легче. Иван Иванович двигался в общем потоке. На московских кухнях внезапно резко заговорили о том, что не все, оказывается, в прошлом было удачно и справедливо. Ну, конечно, всего понастроили, выиграли войну, и здравоохранение было бесплатное, и безработицы не было, но все-таки, все-таки...

Да, Запад продолжал загнивать, хотя уже как-то не так интенсивно и не с прежним азартом. Да, это было, но какие-то робкие сомнения, ничтожные, словно рассеивающийся дымок над костерком, витали меж людьми, и едва заметная трещинка пробороздила гладкую стену дотоле неприступной крепости.

Вдруг было объявлено о проведении в Москве Всемирного фестиваля молодежи. Начался большой шум. Планировались красочные карнавалы, громкое открытие на центральном стадионе, но самое главное и сверхъестественное — предполагался приезд многих тысяч иностранцев, и все гостиницы готовились к их расселению. Это вызвало большой ажиотаж: иностранцев до этого почти не видели, если не считать отдельных дипломатов, проносящихся по столице в показушных автомобилях.

Сейчас, когда я пишу об этом, мне немного смешно и грустно, но тогда было не до смеха, тогда было ощущение удара, внезапного переворота. Был новый день в долгой запланированной жизни. Что-то закачалось. Захватывало дух.

В издательстве прошло собрание. Директор сказал, что фестиваль — ответственная политическая акция. Бдительность, бдительность прежде всего, ибо не исключено, что среди заграничных гостей будет большое скопление профессиональных разведчиков и диверсантов. Пока он говорил все это, глаза его казались совсем стальными, губы брезгливо изгибались, в интонациях прослушивался незамысловатый подтекст, мол, видно, как вы все обезумели от свалившегося на вас и какие у вас возникли обольщения, и вы, конечно, не понимаете, что значит политическая акция, а думаете, что это праздничек, два притопа, три прихлопа... Но мы его прекратим, когда сочтем, понятно?..

Все сидели, поджав бледные губы, и взволнованно переглядывались. «Возможны провокации, — сказал директор, — нужно подготовиться к отпору... А кроме того, нужно это... — интонации его чуть смягчились, — придется как-то... нельзя же в затрапезном... нельзя же, в самом деле, чтобы они подумали, что, мол, мы... в общем, вы понимаете, я надеюсь, нельзя

лицом в грязь... Тут намечается открытие закрытого магазина для идеологических работников, ну чтобы приодеться... Вы получите туда пропуска и купите себе по одной вещи по вкусу, по одной...»

Было робкое оживление, особенно среди женщин. Ивану Иванычу выдали розовый пропуск, и он отправился в закрытый магазин. Он очень волновался, надо отметить. Ему вообще хотелось хорошо одеваться. Всю свою тридцатитрехлетнюю жизнь он одевался плохо. Но Москва тогда была бедновата, хорошие вещи встречались изредка в комиссионных магазинах, хотя было известно, что туда на зарплату редактора не разбежишься.

В магазине у Ивана Иваныча от лицемерия обилия и разнообразия закружилась голова, и он долго не мог прийти в себя. Его окружали надменные молодые продавщицы, которым выпала честь быть хозяйками этого пиршества. Они оказались посвященными и тут же из смазливых заурядных московских девочек превратились в облеченных властью вершительниц чужих судеб. Ах, как они презирали всех суетливых и ничтожных Иванов Иванычей, а еще ожесточенней — своих соплеменниц за дрожащие, заискивающие голоса, за щеки, покрытые красными пятнами, за стоптанные каблучки, за искусительное желание ухватить, выпросить по второму предмету, за подобострастную обреченность во взоре, когда им с отвращением бросали в лицо: «Вам ведь уже сказали, гражданка!..»

Иван Иваныч наконец дождался, пока со щек не схлынула жалкая бледность лишения, распрямил плечи и ленивым, равнодушным перстом указал на костюм из белой шерсти.

Все в этом магазине стоило невероятно дешево, и этот фантастический костюм — тоже. По представлениям Ивана Иваныча, это было самое аристократическое одеяние, в котором он не будет отличаться от расфранченных иностранцев с сигарами в зубах, в шляпах, смокингах и прочем...

В издательстве все были взвинчены. Все ждали открытия фестиваля. Никто толком не работал. Время от времени созывались короткие совещания, на которых директор или секретарь парткома наставляли снова и снова испуганных редакторов, как вести себя с иностранными гостями, не ударяя лицом в грязь и не оскорбляя советскую гордость. «Вы — работники идеологического фронта, — внушалось им, — вы — политические деятели. Будьте начеку. Иностранцам аплодируйте сдержанно, своим — с энтузиазмом. Пусть все видят...»

Наконец в прекрасный воскресный день Иван Иваныч облачился в свой новый костюм из тонкой белой шерсти, на шею повязал шелковый с матовым отливом галстук, взбил еще пышную шевелюру, пригладил усики, глянул в зеркало и остался собой доволен. Худощавый симпатичный иностранец маячил перед ним. «Хорошо бы, наверное, сигару», — подумал он, слегка краснея. Но сигар у него не было. Пока он ехал в метро среди возбужденных москвичей, он все время твердил про себя знакомые ему английские слова и пытался составлять из них фразы. Он очень волновался, боясь попасть впросак перед заграничными гостями. Тут им руководили не какие-то там патриотические порывы, а обыкновенные практические чувства. Вдруг иностранец спросит: «А где у вас тут Арбат?» — или что-нибудь еще, городское и будничное, на своем неведомом языке. И, конечно, хорошо бы легко и непринужденно ему ответить или самому спросить у какой-нибудь очаровательной англичанки или американки: «What is your name? I'm very glad to see you». Или, допустим, она спрашивает: «Who are you?» — а он отвечает: «I'm writer», то есть «Я писатель». И это звучало. Он посмотрел на публику в вагоне. Все были как будто принаряжены, но у всех почему-то, как ему показалось, были белые глаза, и они смотрели друг на друга и на него, ничего не видя, и это его удивило и даже ужаснуло.

Приближался центр. «Как же они будут двигаться?» — подумал Иван Иваныч. Но двери раскрылись, и все вышли из вагона, весело переговариваясь.

И вот на Моховой он увидел первых иностранцев.

Правда, это все были какие-то второсортные иностранцы, не те, не те, что в смокингах и котелках. Юные, в помятых, выцветших голубых штанах, в каких-то несусветных майках и блузках не первой свежести, разрисованных львиными мордами, какими-то символами, какими-

то латинскими фразами. У многих на груди и на руках болтались и позвякивали непонятные цепочки и браслеты. У некоторых были чрезмерно длинные волосы и лица были прыщавы. Они громко разговаривали на неизвестном языке. Не было ни сигар, ни шляп. Они вразвалочку ступали по асфальту, обутые в не слишком новую, заметно стоптанную спортивную обувь. Они улыбались, разглядывая Москву, а то и хохотали напропалую, а то и целовались при всех. Они медленно двигались к университету, а за ними, за ними переливалась в некотором отдалении громадная толпа москвичей, молчаливых и напрягшихся. Толпа тихо шелестела, разглядывая этих второсортных инопланетян, и Иван Иванович оказался в центре этой толпы и вытягивал шею вслед идущим впереди иностранным гостям. Так продолжалось с четверть часа, пока Иван Иванович вдруг не опомнился, не спохватился. Сначала человек, идущий рядом, показался ему похожим на себя: правда, он был не в белом костюме, но тоже с усиками и шею вытягивал так же, затем он увидел, что и другие точно так же вытянули шеи, и это заставило его спохватиться. Он остановился, толпа перекатилась дальше. Он увидел себя в ближайшем оконном стекле. Там он стоял в своем белом костюме, маленький, узкоплечий и никому не нужный. А где же иностранцы в смокингах и с сигарами? Где они, эти подлинные творения недоступного Запада, таинственные, чуждые, опасные, но притягательные и возбуждающие?

Пока он так стоял, размышляя обо всем об этом, вокруг него потихонечку образовалась новая толпа. Его разглядывали с любопытством и вполне доброжелательно. Наконец кто-то, набравшись смелости, спросил его: «Who are you?» Иван Иванович понял, что его приняли за иностранца. Ему бы возгордиться или расхохотаться, но он густо покраснел и побежал к улице Герцена. Толпа двинулась было за ним, но отстала.

Теперь, куда он ни шел, всюду возникали группки иностранцев, сопровождаемые возбужденными москвичами. Совершался некий незапланированный карнавал. Слышался смех. Некоторые отчаянные смельчаки время от времени пытались разговаривать с приезжими, но во всех этих попытках была заметна нервозность, ибо, с одной стороны, всех подогревали многочисленные братские лозунги и горделивые сердечные песни о дружбе и братстве, да и простое любопытство, но, с другой стороны, все хорошо помнили вчерашние инструктажи, и образы шпионов и диверсантов теснились в их распаленных головах.

Теперь того Ивана Ивановича нет и в помине. Тридцать пять лет пролетело — не шутка. Есть некий условный силуэт, искаженный временем фас, мудрость ли во взгляде или усталость — трудно понять. Да и иностранцы, кстати, тоже не те: не шумные толпы раскованных молодых студентов с пролетарскими наклонностями, а благообразные группы недоверчивых сытых людей, и не «Дружба! Дружба!» — такие не наполненные смыслом заклинания на каждом шагу, а принюхивание, приглядывание, целесообразность... Какая уж тут дружба после танковых маршей по Европе, после скандальных разоблачений шпионских центров чуть ли не в каждой стране, после лицезрения нашей нищеты... А тогда... С каким вожделием и страстью ждали приезда этих классовых братьев, голодных и истрадавшихся, как мечтали пригреть их, накормить и широким жестом пригласить полюбоваться на здание университета или Выставку достижений... «И ведь вот что интересно, — говорил некий очередной Иван Иванович, снисходительно и убежденно, заглядывая в голубые американские глазки, — у вас, конечно, тоже есть небоскребы, знаем, знаем, но они у вас черные, закопченные, антигуманные, а это — наш университет, вы только посмотрите, весь на солнце! Весь для человека!..» «О, yes!» — искренне и с восторгом откликались американские уста.

У входа в университетский клуб бушевали страсти. И здесь топтались звонкоголосые второсортные гости, но среди них попадались уже и иные, уже давно не юные, молчаливые, со скучающими лицами. В серых пиджаках и при черных галстуках. «Наши», — догадался Иван Иванович.

Тут к нему подкатили двое в майках, расписанных лозунгами. Они что-то дружелюбно залопотали ему, улыбаясь.

— Я вас не понимаю, — выдавил Иван Иванович, растерявшись, хотя прекрасно знал отрепетированный ответ: «I don't understand».

«Нехорошо», — подумал он в отчаянии.

В университетском клубе предполагалась встреча с делегацией канадской молодежи, а после — концерт. Иван Иванович обрадовался такой возможности и шагнул к двери, но там двое в серых пиджаках и галстуках потребовали у него билет.

— А где продают билеты? — спросил Иван Иванович.

— По организациям, — холодно ответили ему.

Праздник померк. А тут еще какой-то долговязый чернокожий юноша все пытался обнять за плечи робеющую маленькую блондинку. Он хохотал и тянул к ней руку, а она ее отводила и строго приговаривала:

— Ну, ну, только без этого...

— Why? — удивлялся ухажер, снова пытаюсь обнять.

— Только без этого! — пунцовая, повторяла она.

«Дура, — подумал Иван Иванович, — скажи «No», — но она знала только русский, а негр, судя по всему, только английский.

— Why, darling? — упрямо спрашивал он.

— Ну, ну, без этого, — твердила она, — я кому сказала!

И это продолжалось многократно, и Ивану Ивановичу стало противно то ли от негритянского ухаживания, то ли от ее тупости. А ведь не уходила, дура, и даже прижималась к нему крепеньким бедрышком, ханжа сретенская!

В клубе прозвенели звонки, и все возбужденно потянулись к двери: и гости, и облагодетельствованные москвичи. И Иван Иванович, презрев унижение, двинулся тоже.

— Билет, — сказали ему жестко.

— Я из издательства, — строго сообщил Иван Иванович, — у меня задание, — и протянул удостоверение.

— Давай отсюда! — распорядился дежурный и оттолкнул Ивана Ивановича тренированной рукой...

И вот все гости вошли, но и все в серых костюмах и черных галстуках вошли тоже, и лишь случайные неудачники толпились у входа без надежд. Последними проходили негр и его строптивая блондинка. Черная рука иностранца уже прочно покоилась на ее плече, а у самого входа он потянулся толстыми губами к ее целомудренной щеке.

— Надья... Надья... Надья...

— Джон! — рассердилась она. — Ну чего пристал!

Иван Иванович отправился восвояси. За углом его остановили две молодые дамы и спросили, нет ли у него лишнего билетика.

— Я вас не понимаю, — скороговоркой пробормотал Иван Иванович и суетливо побежал по тротуару в своем белом костюме. Дамы хихикнули ему вслед.

«Идиот», — подумал он, теряя себя окончательно.

Так, оплеванный, дошел он до Александровского сада и присел на скамью.

Начались летние легкие сумерки. Еще была отчетлива зелень листвы на темных багровых склонах кремлевской стены. За оградой шумели машины и кипели фестивальные страсти, а здесь стояла тишина, лишь иногда раздавалось шуршание да похрустывание, словно это минувшее, давнее и недавнее, пытается о себе напомнить, зацепиться как-то, воскликнуть, но соскальзывает с плеч Ивана Ивановича, не умея удержаться, и тонет, гаснет где-то совсем неподалеку, потому что ему не до него, он не то чтобы разучился — он просто и не умел с ним общаться. И стена эта перед ним была простым нагромождением грязных, ноздреватых кирпичей. И он поглядывал на нее равнодушным современным оком и размышлял о своих маленьких нынешних практических интересах. Когда-нибудь он еще вздрогнет от ощущения тяжелой утраты, но, видимо, лишь тогда, когда и сам будет шуршать и похрустывать, удаляясь, пытаясь беспомощно зацепиться за чьи-нибудь сильные плечи, за доброе, внимательное соучастие...

Но он был еще сравнительно молод и весь во власти этого Часа, и искусственный фестиваль огонь казался ему большим пожаром. И тут к его скамье подплыли двое и уселись неподалеку. Молодой человек и девушка. Они только что познакомились — это было видно. Он, конечно, был англичанин, а она русская. Он блондин, а она темно-русская, трепещущая, каких множество в Москве в вечерние часы. Он настойчиво выпрашивал ее имя, а она не понимала его и краснела, но было видно, что общение ей приятно.

— Он спрашивает, как вас зовут, — гордо перевел Иван Иванович и выдал себя.

— О! — воскликнул англичанин с благодарностью.

— Катя, — сказала она радостно.

— Kate, — перевел Иван Иванович, поигрывая английскими интонациями.

— О! — воскликнул англичанин.

Тут Иван Иванович подумал, что она очень хороша и было бы замечательно, если бы парень ушел, а она осталась...

Англичанина звали Майкл.

— I want to meet you tomorrow, — сказал он Кате, глядя на Ивана Ивановича.

— Я хочу с вами встретиться завтра, — сказал Иван Иванович, потея от напряжения.

Она согласно кивнула.

— When? — спросил Майкл по-деловому.

— Когда? — спросил Иван Иванович у Кати. Краски на ней не было, как ни странно. Выразительные губы были в легкую оборочку, но юные и свежие, и влажные и серые глаза глядели не мигая, то ли слишком доверчиво, то ли слишком проницательно. А Майкл, хоть и восклицал часто, казался холодным. «Неужели она ему верит?» — подумал Иван Иванович.

— Так когда же? — спросил он у Кати, теряя интерес к происходящему.

— Завтра вечером в восемь, — сказала она, немного подумав.

Иван Иванович лихорадочно искал в памяти слово «вечер», наконец нашел и сказал:

— At eight o'clock, in the morning, tomorrow.

Майкл несколько удивился, пожал плечами, ответил как бы по складам:

— O'key...

Она помахала ручкой, тряхнула локонами и, холодно оглядев Ивана Ивановича, побежала из сада.

— Thank you, — сказал Майкл и пошел в противоположную сторону, — bye-bye...

И тут Иван Иванович вздрогнул, сообразив, что он позорно ошибся, перепутав «утро» и «вечер». Он очень взволновался и по присущему ему благородству поклялся прийти сюда утром и объяснить одуроченному англичанину, что свидание состоится вечером. Переполненный клятвами, он отправился к дому и тут по дороге вообразил, как сам приедет завтра вечером и встретит Катю. Она не дожидается того английского прощельги и обрадуется, увидев вчерашнего знакомого, и они вместе посмеются над прыщавым иностранцем. «А почему вы оказались здесь?» — спросит она. «Я всегда прихожу сюда по сумеркам», — скажет он таинственно. Затем она... нет, он... И тут ее личико заколебалось и растаяло.

На следующий день, собираясь в издательство, он мельком вспомнил обо всем об этом, но думать было лень.

В издательстве на доске объявлений красовалась программа выступлений по городу гостей фестиваля. Было множество концертов по числу стран: и американцы, и французы, и англичане, и канадцы, и испанцы, и итальянцы, и многие другие, но в издательстве билеты были только на алжирцев и болгар.

Ивана Ивановича это глубоко оскорбило, но он не стал писать протестующих писем и скандалить с организаторами фестиваля. Конечно, если бы в те годы он знал, что известно мне сегодня, не поручусь, что дело обернулось бы столь просто, но тогда, в пятьдесят седьмом, для него оно обернулось именно так. Не в его характере было протестовать против предначертаний высших сил. Да к тому же привычнее было проглотить обиду, чем докапываться до небезопасной истины.

— Не забывайте о бдительности, — напомнил в один из фестивальных дней секретарь парткома, усмехнувшись, — берегите источники воды.

Ивану Иванычу не понравилась эта усмешка, он ничего не понял и стал переспрашивать: «Какой воды? Какой воды?..» — и столкнулся со взглядом секретаря, полным тоски и оскорбительной снисходительности одновременно. И это еще больше сбивало с толку: эта тоска и усмешка на аккуратных губах.

В довершение ко всему его неожиданно пригласил директор издательства и торжественно сообщил, что Иван Иваныч включен в состав делегации ЦК комсомола для поездки на целину по бригадам. В связи с этим он должен был явиться к инструктору Центрального Комитета товарищу Савельевой, чтобы себя показать и выслушать напутственные слова. Иван Иваныч нарядился в свой белый неотразимый костюм, подбил чубчик и отправился на бывшую Маросейку.

По всему, инструктор Савельева была его ровесница. Ей было слегка за тридцать. Он-то представлял, что увидит партийного сухаря, в галстук и с прямым пробором, а она была ну просто хороша, в модном платье, с достаточно вольной прической, и с перстнем на розовом пальце, и с мушкой на белой щеке. И Иван Иваныч взволновался и, утешая себя, подумал: «Видывали и получше», — и почтительно поклонился. Однако она оставила без внимания его мужественный сигнал, а может быть, и притворилась, во всяком случае взгляд ее был строг, да и служебные интонации ни на что такое не позволяли рассчитывать. Она оглядела Ивана Иваныча слишком демонстративно и не слишком сердечно, как некогда, бывало, командир батареи оглядывал его, такого тщедушного, с кривыми ножками в обмотках и в помятой пилотке на стриженной голове. Нет, ужаса не было в ее взгляде, но были сомнение и неприязнь. Слава богу, она была откровенна и спросила:

— Вы что, так и намерены ехать на целину в этом наряде?

Иван Иваныч был вопросом смущен и даже обижен. Он хотел спросить, чем, мол, ей не понравился его белый костюм из тонкой шерсти, но, конечно, не спросил, потому что понимал, что предстоит серьезный разговор и его нельзя сводить к обсуждению гардероба, а может быть, душа затрепетала, оказавшись перед дубовым столом.

— В этом наряде? — повторила она.

— Да, — прохрипел он, пожимая плечами. Ее сочные губы как-то потускнели, глаза округлились.

— Но там же рабочие ребята и девчата, — сказала она, не скрывая раздражения. — Неужели у вас нет чего-нибудь спортивного?

— Нет, — сказал он извиняющимся тоном.

Внезапно что-то промелькнуло в ее лице, что-то мягкое, даже показалось, что она вот-вот улыбнется, но это лишь показалось.

— Странно, — сказала она, — вы же пропагандист, вы же коммунист...

«Какой я, к черту, пропагандист!» — подумал он и даже хотел пошутить и сказать, что он гитарист или что-нибудь в этом роде, но даже мушка на ее щеке не располагала к шуткам.

Кто-то скребнулся в тяжелую дверь, и приоткрыл ее, и протек в кабинет, этакий в черном костюмчике, в белоснежной сорочке, в черном галстук, и проскользил к столу, протягивая товарищу Савельевой листок, улегшийся перед ее глазами, а сам застыл в отдалении в некотором полупоклончике, не замечая Ивана Иваныча. Ее точеная рука с перстнем прошла по листку, оставив на нем зигзаг автографа, и листок, словно благодетельствованный, словно оплодотворенный, взлетел над столом и удалился из кабинета вслед за черным костюмом...

Тут он вспомнил о маме, которая вот так же поджимала губы, когда находила, что его внешний вид не соответствует, ну, допустим, партийным нормам, слишком вызывающ, что ли... Или, к примеру, он сомневался в правомерности классовой борьбы, или еще чего-то там, и тут мама сжимала губы, и холодный, неотвратимый огонек вспыхивал в ее карих глазах...

— А твои семнадцать каторжных лет? — спрашивал он. — Это тоже историческая логика?

— Это не имеет отношения к нашим идеалам, — бросала она, и губы становились белее и еще жестче.

Правда, у мамы был пробор на прямой ряд, а не модная прическа, как у инструктора Савельевой, а уж о перстне и говорить нечего.

— Вы можете идти, — сказала Савельева безразлично, — мы известим вас.

Он вышел, понимая, что никуда не поедет. И обрадовался.

До Ивана Ивановича начали доходить слухи, что его песни распевают по студенческим общежитиям. Ему это было лестно и странно, потому что он всегда видел перед собой своими почитателями ровесников, то есть людей, обожженных и тридцать седьмым, и войной, имеющих общий с ним опыт, достаточно печальный и даже трагический, а тут вдруг молодые люди с пушком на губах... Но как бы там ни было, он ловил эти слухи и, видимо, как-то пытался соразмерить свою жизнь с новыми обстоятельствами. А новые обстоятельства не заставили себя долго ждать.

И вот однажды раздался звонок из районной библиотеки, расположенной где-то у метро «Сокол», и его пригласили на встречу с читателями.

В назначенное время он подъехал к библиотеке на такси. То есть он не совсем подъехал, а вынужден был остановить машину далеко от входа, ибо пространство перед домом было забито людьми все больше молодыми. Толпа была шумная, горячая. Многие были с гитарами. Они подступили к библиотечному крыльцу, к самым дверям, в которых были выбиты стекла и где два утомленных, недоумевающих милиционера загоразживали обезображенный вход.

Толпа гудела. Слышались гитарные переборы. До Ивана Ивановича донеслись знакомые мелодии — напевали его песни. Прижимая гитару к груди, он пробивался ко входу. Никто его, конечно, не узнавал: в лицо его не знали. За стеклами библиотечных окон маячили испуганные лица счастливых, успевших до погрома пробиться в помещение. Наконец Ивану Ивановичу удалось добраться до крыльца. Нет, не недоумение было написано на лицах милиционеров у разбитой двери, а гнев и жестокость. Они перегородили дорогу Ивану Ивановичу.

— Меня там ждут, — сказал Иван Иванович строго.

Они оглядели его мутными глазами. Толпа замерла.

— Ух ты, — сказал один из милиционеров, — его там ждут...

— Они собрались на встречу со мной, — заявил он гордо.

Милиционеры дружно оттолкнули его.

— Я Отар Отарыч! — крикнул он.

— Давай иди отсюда! — распорядился один из стражей.

— Да это же меня ждут, — выдавил Иван Иванович, — я Отар Отарыч...

Из толпы наблюдали с интересом: почти каждый прошел этот путь. Кто-то засмеялся. Смех почему-то пуще распалил милиционеров. Они снова оттолкнули Ивана Ивановича. Из разбитых библиотечных дверей высунулась бледная, растрепанная женщина. Она молча и с ужасом наблюдала, как милиционеры сталкивают Ивана Ивановича с крыльца.

— Где ваша заведующая? — успел крикнуть Иван Иванович и полетел в толпу.

— Ловкач, — сказал кто-то, и все в толпе снова рассмеялись.

«Если бы вы знали, что я и есть Отар Отарыч, вы бы меня на руках внесли в библиотеку», — хотел крикнуть Иван Иванович, но, конечно, не крикнул, а быстро пошел прочь, почти побежал.

На следующий день он позвонил в библиотеку. Заведующая говорила с ним загробным голосом. В частности, она сказала:

— Мы допустили ошибку: оповестили, знаете, актив, а после взяли да и повесили объявление у метро, хотели как лучше... ну и вот такой кошмар...

— Жаль, — сказал Иван Иванович нравоучительно, — поторопились, — но с трудом скрыл ликование, а когда повесил трубку, долго сидел зажмурившись.

Это был опыт, первый и сладостный, но эйфория развеялась быстро, потому что Иван Иванович был уже не слишком молод и мог представить себя со стороны, и он увидел, как его

сталкивают с крыльца и какой он неказистый и нелепый со своей гитарой... Он вдруг понял, как все относительно и неустойчиво в этом мире, и, что вполне вероятно, когда-нибудь его столкнут не потому, что не узнают, а просто потому, что нужен будет уже не Иван Иваныч, а какой-нибудь Петр Петрович, или Сергей Сергеич, или даже Эдуард Эдуардыч.